



# Юрий Николаевич Тынянов

## Восковая персона

*Издательский текст*  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=174583](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174583)  
*Смерть Вазир-Мухтара: Эксмо; М.; 2007*  
*ISBN 978-5-699-22702-0*

### **Аннотация**

Юрий Николаевич Тынянов во всех своих произведениях умеет передать живое ощущение описываемой им эпохи. «Смерть Вазир-Мухтара» – один из самых известных романов Юрия Тынянова. В нем он рассказал о последнем годе жизни великого писателя и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова, о его трагической гибели в Персии, куда он был отправлен в качестве посла. Также в сборник вошли повесть «Восковая персона» и рассказы «Подпоручик Кижэ» и «Гражданин Очер».

# Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ	4
1	5
2	6
3	8
4	11
5	12
6	17
7	19
ГЛАВА ВТОРАЯ	23
1	24
Конец ознакомительного фрагмента.	25

# Юрий Тынянов

## Восковая персона

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

*Доктор вернейший, потцись мя лечити,  
Болезненну рану от мя отлучити.  
Акт о Калеандре*

## 1

Еще в четверг было пито. И как пито было! А теперь он кричал день и ночь и осип, теперь он умирал.

А как было пито в четверг! Но теперь архиятр Блументрост подавал мало надежды. Якова Тургенева гузном тогда сажали в лохань, а в лохани были яйца.

Но веселья тогда не было и было трудно. Тургенев был старый мужик, клекотал курицей и потом плакал – это трудно ему пришлось.

Каналы не были доделаны, бечевник невский разорен, неисполнение приказа. И неужели так, посреди трудов недоконченных, приходилось теперь взаправду умирать?

От сестры был гоним: она была хитра и зла. Монахине несносен: она была глупа. Сын ненавидел: был упрям. Любимец, миньон, Данилович – вор. И открылась цедула от Вилима Ивановича к хозяйке, с составом питья, такого питьеца, не про кого другого, про самого хозяина.

Он забился всем телом на кровати до самого парусинного потолка, кровать заходила, как корабль. Это были судороги от болезни, но он еще бился и сам, нарочно.

Екатерина наклонилась над ним тем, чем брала его за душу, за мясо, -

И он подчинился.

Которые целовал еще два месяца назад господин камергер Монс, Вилим Иванович. Он затих.

В соседней комнате итальянский лекарь Лацаритти, черный и маленький, весь щуплый, грел красные ручки, а тот аглицкий, Горн, точил длинный и острый ножик – резать его.

Монсову голову настояли в спирту, и она в склянке теперь стояла в куншткаморе, для науки.

На кого оставлять ту великую науку, все то устройство, государство и, наконец, немалое искусство художества?

О Катя, Катя, матка! Грубейшая!

## 2

Данилыч, герцог Ижорский, теперь вовсе не раздевался. Он сидел в своей спальняй комнате и подремывал: не идут ли?

Он уж так давно приучился посиживать и сидя дремать: ждал гибели за монастырское пограбление, почепское межевание и великие дачи, которые ему давали: кто по сту тысячей, а кто по пятьдесят ефимков; от городов и от мужиков; от иностранцев разных состояний и от королевского двора; а потом – при подрядах на чужое имя, обшивке войска, изготовлении негодных портищ – и прямо из казны. У него был нос вострый, пламенный, и сухие руки. Он любил, чтоб все огнем горело в руках, чтоб всего было много и все было самое наилучшее, чтобы все было стройно и бережно.

По вечерам он считал свои убытки:

– Васильевский остров был мне подаренный, а потом в одночасье отобран.

В последнем жалованье по войскам обнесен. И только одно для меня великое утешение будет, если город Батурич подарят.

Светлейший князь Данилыч обыкновенно призывал своего министра Волкова и спрашивал у него отчета, сколько маетностей числится у него по сей час.

Потом запирался, вспоминал последнюю цифру, пятьдесят две тысячи подданных душ, или вспоминал об убойном и сальном промысле, что был у него в архангельском Городе, – и чувствовал некоторую потаенную сладость у самых губ, сладость от маетностей, что много всего имеет, больше всех, и что все у него растет. Водил войска, строил быстро и рачительно, был прилежный и охотный господин, но миновались походы и кончались канальные строения, а рука была все сухая, горячая, ей работа была нужна, или нужна была баба, или дача?

Данилыч, князь Римский, полюбил дачу.

Он уже не мог обнять глазом всех своих маетностей, сколько ему принадлежало городов, селений и душ, – и сам себе иногда удивлялся:

– Чем боле владею, тем боле рука горит.

Он иногда просыпался по ночам, в своей глубокой алькове, смотрел на Михайловну, герцогиню ижорскую, и вздыхал:

– Ох, дура, дура!

Потом, оборотясь пламенным глазом к окну, к тем азиатским цветным стеклышкам, или уставясь в кожаные расписные потолки, исчислял, сколько будет у него от казны интересу; чтоб показать в счетах менее, а на самом деле получить более хлеба. И выходило не то тысяч на пятьсот ефимков, не то на все шестьсот пятьдесят. И он чувствовал уязвление. Потом опять долго смотрел на Михайловну:

– Губастая!

И тут вертко и быстро вдевал ступни в татарские туфли и шел на другую половину, к свояченице Варваре. Та его понимала лучше, с той он разговаривал и так и сяк, аж до самого утра. И это его услаждало. Старые дурни говорили: нельзя, грех. А комната рядом, и можно. От этого он чувствовал государственную смелость.

Но полюбил притом мелкую дачу и так иногда говорил свояченице Варваре или той же Михайловне, Почепской графине:

– Что мне за радость от маетностей, когда я их не могу всех зараз видеть или даже взять в понятие? Видал я десять тысяч человек в строях или таборах, и то – тьма, а у меня на сей час по ведомости господина министра Волкова их пятьдесят две тысячи душ, кроме еще нищих и старых гулящих. Это нельзя понять. А дача, она у меня в руке, в пяти пальцах зажата, как живая.

И теперь, по прошествии многих мелких и крупных дач и грабительств и ссылке всех неистовых врагов: барона Шафирки, еврея, и многих других, он сидел и ждал суда и казни, а сам все думал, сжав зубы:

«Отдам половину, отшучусь».

А выпив ренского, представлял уже некоторый сладостный город, свой собственный, и прибавлял:

– Но уж Батурин – мне.

А потом пошло все хуже и хуже; и легко было понять, что может быть выем обеих ноздрей – каторга.

Оставалась одна надежда в этом упадке: было переведено много денег на Лондон и Амстердам, и впоследствии пригодятся.

Но кто родился под планетой Венерой – Брюс говорил про того: исполнение желаний и избавление из тесных мест. Вот сам и заболел.

Теперь Данилыч сидел и ждал: когда позовут? Михайловна все молилась, чтоб уж поскорей.

И две ночи он уже так сидел в параде, во всей форме.

И вот, когда он так сидел и ждал, под вечер вошел к нему слуга и сказал:

– Граф Растреллий, по особому делу.

– Что ж его черти принесли? – удивился герцог. – И графство его негодное.

Но вот уже входил сам граф Растреллий. Его графство было не настоящее, а папешское: папа за что-то дал ему графство, или он это графство купил у папы, а сам он был не кто иной, как художник искусства.

### 3

Его пропустили с подмастерьем, господином Лежандром. Господин Лежандр шел по улицам с фонарем и освещал дорогу Растреллию, а потом внизу доложил, что просит пропустить к герцогу и его, подмастерья, господина Лежандра, потому что бойчей знает говорить по-немецки.

Их допустили.

По лестнице граф Растреллий всходил бодро и щупал рукой перилы, как будто то был набалдашник его собственной трости. У него были руки круглые, красные, малого размера. Ни на что кругом он не смотрел, потому что дом строил немец Шедель, а что немец мог построить, то было неинтересно Растреллию. А в кабинетной – стоял гордо и скромно. Рост его был мал, живот велик, щеки толстые, ноги малые, как женские, и руки круглые. Он опирался на трость и сильно сопел носом, потому что запыхался. Нос его был бугровый, бугристый, цвета бурдо, как губка или голландский туф, которым обделан фонтан. Нос был как у тритона, потому что от водки и от большого искусства граф Растреллий сильно дышал. Он любил круглоту и если изображал Нептуна, то именно брадатого, и чтоб вокруг плескались морские девки. Так накрутил он по Неве до ста бронзовых штук, и все забавные, на Езоповы басни: против самого Меньшикова дома стоял, например, бронзовый портрет лягушки, которая дулась так, что под конец лопнула. Эта лягушка была как живая, глаза у ней вылезли. Такого человека, если б кто переманил, то мало бы дать миллион: у него в одном пальце было больше радости и художества, чем у всех немцев. Он в один свой проезд от Парижа до Петербурга издержал десять тысяч французской монетой. Этого Меньшиков до сих пор не мог позабыть. И даже уважал за это. Сколько искусств он один мог производить? Меньшиков с удивлением смотрел на его толстые икры. Уж больно толстые икры, видно, что крепкий человек. Но, конечно, Данилыч, как герцог, сидел в креслах и слушал, а Растреллий стоял и говорил.

Что он говорил по-итальянски и французски, господин подмастерье Лежандр говорил по-немецки, а министр Волков понимал и уж тогда докладывал герцогу Ижорскому по-русски.

Граф Растреллий поклонился и произнес, что дук д'Ижора – изящный господин и великолепный покровитель искусств, отец их, и что он только для того и пришел.

– Ваша алтесса – отец всех искусств, – так передал это господин подмастерье Лежандр, но сказал вместо «искусств»: «штук», потому что знал польское слово – штука, обозначающее: искусство.

Тут министр господин Волков подумал, что дело идет о грудных и бронзовых штуках, но Данилович, сам герцог, это отверг: ночью в такое время – и о штуках.

Он ждал.

Но тут граф Растреллий принес жалобу на господина де Каравакка.

Каравакк был художник для малых вещей, писал персоны небольшим размером и приехал одновременно с графом. Но дук явил свою патронскую милость и начал употреблять его как исторического мастера и именно ему отдал подряд изобразить Полтавскую битву. А теперь до графа дошел слух, что готовится со стороны господина де Каравакка такое дело, что он пришел просить дука в это дело вмешаться.

Слово «Каравакк» Растреллий картавил, грозно, с презрением, как бы каркал. Слюна брызгала у него изо рта.

Тут Данилыч нацелился глазом: зрелище художника стало ему приятно.

– Пусть говорит о деле, – сказал он, – для чего у них стала ссора с Коровяком. Коровяк вострый маляр и берет дешевле. – Ему была приятна ссора Растреллия с Каравакком, и если

б не такое время, он что бы сделал? Он созвал бы гостей, да позвал бы того Растреллия и Коровяка, и стравил бы их, аж до драки. Как петухов, этого толстого с тем, с чернявым.

Тут Растреллий сказал, а господин Лежандр пояснил:

– Дошло до его слуха, что когда император помрет, то господин де Каравакк хочет делать с него маску, и господин де Каравакк не умеет делать масок, а маски с мертвых умеет делать он, Растреллий.

Но тут Меньшиков легонько вытянулся в креслах, воздушно соскочил с них и подбежал к двери. Заглянул за дверь и потом долго глядел в окошко; он смотрел, нет ли где изыскателей и доносителей.

Потом он приступил к Растреллию и сказал так:

– Ты что бредишь непотребные слова, относящиеся к самой персоне? Император жив и нынче получил облегчение.

Но тут граф Растреллий сильно махнул головой с отрицанием.

– Император, конечно, умрет в четыре дня, – сказал он, – так говорил мне господин врач Лацаритти.

И тут же, поясняя речь, ткнул двумя толстыми и малыми пальцами вниз, в пол, – что именно в четыре дня император, конечно, пойдет уже в землю.

И тут Данилыч почувствовал легкий озноб и потрясение, потому что никто еще из посторонних так явно не говорил о царской смерти. Он почувствовал восторг, что как бы восторгают его над полом и он как бы возносится в воздухе над своим состоянием. Все переменилось в нем. И уже за столом и в креслах сидел спокойный человек, отец искусств, который более не интересовался мелкой дачей.

Тут Растреллий сказал, а господин подмастерье Лежандр и министр Волков перевели, каждый по-своему:

– Он, Растреллий, это хочет для того сделать, что той любопытной маской он надеется приобрести большое внимание при иностранных дворах, и у Цесаря, равно как и во Франции. А зато обещается он, Растреллий, сделать маску и с самого герцога, когда тот умрет, и согласен сделать ему портрет, медный, небольшой, с герцогской дочери.

– Ты ему скажи – я сам с него маску спущу, – сказал Данилыч, – а с дочки пусть сделает средней величины. Дурак.

И Растреллий обещался.

Но потом, потоптавшись, побулькав толстыми губами, он вытянул вдруг правую ручку – на правой ручке горели рубины и карбункулы – и стал говорить до того быстро, что Лежандр и Волков, открыв рты, стояли и ничего не переводили. Его речь была как пузырьки, которые всплывают на воде вокруг купающегося человека и так же быстро лопаются. Пузырьки всплывали и лопались – и наконец купающийся человек нырнул: граф Растреллий захлебнулся.

Потом герцогу доложили: есть искусство изящное и самое верное, так что нельзя портрет отличить от того человека, с которого портрет делан. Ни медь, ни бронза, ни самый мягкий свинец, ни левкос не идут против того вещества, из которого делают портреты художники этого искусства. Искусство это самое древнее и дольше всего держится, еще со времен даже римских императоров. И вещество само лезет в руку, так оно лепко, и малейший выем или выпуклость, оно все передает, стоит надавить, или выпятить ладошкой, или влечь пальцем, или вколупнуть стилем, а потом лицевать, гладить, обладать, обрывать, – и получается: великолепиие.

Меньшиков с беспокойством следил за пальцами Растреллия. Маленькие пальцы, кривые от холода и водки, красные, морщинистые, мяли воздушную глину. И наконец, оказалось еще следующее: лет двести назад нашли в итальянской земле девушку, девушка была

как живая, и все было как живое и сверху и сзади. То была, одни говорили, статуя работы известного мастера Рафаила, а другие говорили, что Андрея Верокия или Орсиния.

И тут Растреллий захохотал, как смеется растущее дитя: его глаза скрылись, нос сморщился, и он крикнул, торопясь:

– Но то была Юлия, дочь известного Цицерона, живая, то есть не живая, но сама природа сделала со временем ее тем веществом. – И Растреллий захлебнулся. – И то вещество – воск.

– Сколько за тую девку просят? – спросил герцог.

– Она непродажна, – сказал Лежандр.

– Она непродажна, – сказал Волков.

– То и говорить не стоит, – сказал герцог.

Но тут Растреллий поднял вверх малую, толстую руку.

– Скажите дуку Ижорскому, – приказал он, – что со всех великих государей, когда умирают, непременно делают по точной мерке такие восковые портреты. И есть портрет покойного короля Луи Четырнадцатого, и его делал славный мастер Антон Бенуа – мой учитель и наставник в этом деле, и теперь во всех европейских землях, больших и малых, остался для этого дела один мастер: и тот мастер – я.

И пальцем ткнул себя в грудь и поклонился широко и пышно дуку Ижорскому, Данилычу.

Спокойно сидел Данилыч и спросил у мастера:

– А ростом портрет велик ли? Растреллий ответил:

– Портрет мелок, как сам покойный французский государь был мал; рот у него женский; нос как у орла клюв; но нижняя губа сильна и знатный подбородок. Одет он в кружева, и есть способ, чтоб он вскакивал и показывал рукой благоволение посетителям, потому что он стоит в музее.

Тут руки у Данилыча задвигались: он был малознающ в устройствах, но роскошен и любил вещи. Он не любил художества, а любил досужество. Но по привычке спросил, как бы из любознания:

– А махина внутри или приделана снаружи, и из стали или железная – или какая?

Но тут же махнул рукой и сказал:

– А обычай тот глуп, чтоб персоне вскакивать и всякому бездельнику оказывать честь, да и не время мне сейчас.

Но после краткого перевода Растреллий поймал воздух в кулак и так поднес герцогу:

– Фортуна, – сказал он, – кто нечаянно ногой наступит – перед тем персона встанет, все то есть испытание фортуны.

И тут наступило полное молчание. Тогда герцог Ижорский вынул из глубокого кармана серебряный футляр, достал из него зубочистку и почистил ею в зубах. – А воск от литья, от фурмов пушечных что остался, – на тот портрет годится? – спросил он потом.

Растреллий дал гордый ответ, что нет, не годится, нужен самый белый воск, но тут вошла Михайловна.

– Зовут, – сказала она.

И Данилыч, светлейший князь, встал, распоряжаться готовый.

## 4

По Неве дуло два встречных ветра: сиверик – от шведов и мокряк – с мокрого места, и когда они встретились, тогда получился третий ветер: чухонский поперечень.

Сиверик был прямой и курчавый, мокряк – косой, с загибом. Получился чухонский поперечень, поперек всего. Он ходил кругами по Неве, очищая малое место, подымал седую бороду дыбом и потом вставал против мест и покрывал их.

Тогда два молодых волка отстали от большой стаи в лесу за Петровским островом. Два волка бежали по притоку Невы, перебежали его, постояли и посмотрели. Они побежали по Васильевскому острову, по линейной дороге, и опять остановились. Они увидели шалаш и деревянную рогатку. В шалаше спал живой человек, укрывшись. Тут они обошли рогатку; они ровно побежали по узкой тропе, шедшей вдоль дороги. Миновали две мазанки и у самого Меньшикова дома спустились на Неву.

Они осторожно спускались: были навалены камни, запорошены снегом, а кой-где и голые; они, волки, ставили нежно свои лапы. И побежали к жидкому лесу, который видели вдалеке.

В одной избе загорелся свет, или он горел уже раньше, но только стал теперь ярче, потом в сумерках выскочил человек с мордастыми собаками, потом спустил их, и тут же закричал, и вскоре выстрелил из длинного ружья. Ганс Юрген был повар, а теперь береговой начальник, и это он выскочил из своей избы и выстрелил. Мордастые собаки были его доги. У него их было двенадцать собак.

Волки прижались тогда задами ко льду, и вся их сила ушла в передние лапы. Передние лапы делались все круче, все сильней, волки все более забирали пространства. И они ушли от собак.

Потом выбежали на берег и мимо Летнего сада добежали до Ерика, Фонтанной речки. Тут они пересекли большую Невскую перспективную дорогу, которая на Новгород, мощеную, на ней лежали поперек доски. Потом, перепрыгивая по болотным кочкам, они скрылись в роще по Фонтанной речке.

А от выстрела он проснулся.

## 5

Всю ночь он трудился во сне, ему снились трудные сны.

А для кого трудился? – Для отечества.

Рукам его снилась ноша. Он эту ношу таскал с одного беспокойного места в другое, а ноги уставали, становились все тоньше и стали под конец совсем тонкие.

Ему снилось, что та, которую все звали Катериной Алексеевной, а он Катеринушкой, а прежде звали драгунской женой, Катериной Василевской, и Скавронской, и Мартой, и как еще там, – вот она уехала. Он вошел в палаты, и захотелось бежать – так все пусто было без нее, а по палатам бродила медведица. На цепи, чернявая волосом и большие лапы, тихий зверь. И зверь был к нему ласков. А Катерина уехала и сказала неизвестной. И тут солдат и солдатское лицо, надутое, как пузырь, и в мелких морщинах, как рябь по воде.

И он составил ношу и поколол солдата шпагой; тут у него заболело внизу живота, потянуло аж в самую землю, но потом отпустило, хоть и не все.

Все-таки он солдата сволок под мышки и слабыми руками стал разыскивать: расклат на полу и прошел горячим веником по спине. А тот лежит смирно, а кругом хозяйство и многие вещи. Как стал водить веником по солдатской спине, так самого пожгло по спине и сам ослабел и изменился. Стало холодно и боязно, и он заходил ногами как бы не по полу. И солдат высоким голосом все кричал, его голосом, Петровым. Тут стали стрелять издалека шведы, и он проснулся, понял, что это не он пытал, а его пытали, и сказал, как будто все это писал письмо Катерине:

– Приезжай посмотреть, как я живу раненый, на мое хозяйство.

Проснулся еще раз и очутился в сумерках, как в утробе, было душно, натопили с вечера. И он полежал без мыслей.

Он переменялся даже в величине, у него были слабые ноги и живот пустынный, каменный и трудный.

Он решил не вносить ночные сны в кабинетный журнал, как обычно делал: сны были нелюбопытны, и он их побаивался. Он боялся того солдата и морщин, и неизвестно было, что солдат означает. Но нужно было и с ним справиться.

Потом в комнате несколько рассвело, как будто повар помешал ложкой эту кашу.

Начинался день, и хоть он больше не ходил по делам, но как просыпался, дела словно бродили по нем. Пошел словно в токарню – доточить штуку из кости – остался недоточенный досканец.

Потом словно бы пора ехать на смотрение в разные места – сегодня авторник, не церемониальный день, дожидаются коляски, наряд на все дороги.

Калмыцкую овчину на голову – ив Сенат.

Сенату дать такой указ: на виске не тянуть более разу и веником не жечь, потому что если более и жечь веником, то человек меняется в себе и может себя потерять.

Но дела его быстро оставили, не доходя до конца, и даже до начала, как тень.

Он совсем проснулся.

Печь была натоплена с вечера так, что глазурь калилась и как на глазах лопалась, как будто потрескивала. Комната была малая, сухая, самый воздух лопался, как глазурь, от жары.

Ах, если б малую, сухую голову проняла бы фонтанная прохлада!

Чтобы фонтан напружился и переметнул свою струю – вот тогда разорвало бы болезнь.

А когда все тело проснулось, оно поняло: Петру Михайлову приходит конец, самый конечный и скорый. Самое большее оставалась ему неделя. На меньшее он не соглашался, о меньшем он думать боялся. А Петром Михайловым он звал себя, когда любил или жалел.

И тогда глаза стали смотреть на синие голландские кафли, которые он выписал из Голландии, и здесь пробовал такие кафли завести, да не удалось, на эту печь, которая долго после него простоит, добрая печь.

Отчего те кафли не завелись? Он не вспомнил и смотрел на кафли, и смотрение было самое детское, безо всего.

Мельница ветряная, и павильон с мостом, и корабли трехмачтовые.

И море.

Человек в круглой шляпе пумпует из круглой пумпы, и три цветка, столь толстых, как бы человеческие члены. Садовник.

Прохожий человек, кафтан в талью, обнимает толстую женку, которой приятно. Дорожная забава.

Лошадь с головой как у собаки.

Дерево, кудрявое, похожее на китайское, коляска, в ней человек, а с той стороны башня, и флаг, и птицы летят.

Шалаш, и рядом девка большая, и сомнительно, может ли войти в шалаш, потому что не сделана пропорция.

Голландский монах, плешивый, под колючим деревом читает книгу. На нем толстая дерюга и сидит, оборотясь задом.

И море.

Голубятня, простая, с колонками, а колонки толстые, как колена. И статуи и горшки. Собака позади, с женским лицом, лает. Птица сбоку делает на краул крылом.

Китайская пагода прохладная.

Два толстых человека на мосту, а мост на сваях, как на книжных переплетах. Голландское обыкновение.

Еще мост, подъемный, на цепях, а выем круглый.

Башня, сверху опущен крюк, на крюке веревка, а на веревке мотается кладь. Тащат. А внизу, в канале, лодка и три гребца, на них круглые шляпы, и они везут в лодке корову. И корова с большой головой и ряба, крапленая.

Пастух гонит рогатое стадо, а на горе деревья, колючие, шершавые, как собаки. Летний жар.

Замок, квадратный, старого образца, утки перед замком в заливе, и дерево накренилось. Норд-ост.

И море.

Разоренное строение или руины, и конное войско едет по песку, а стволы голые, и шатры рогатые.

И корабль трехмачтовый и море.

И прощай, море, и прощай, печь.

Прощайте, прекрасные палаты, более не ходить по вас!

Прощай, веревка, верейка! На тебе не отправляться к Сенату!

Не дожидайся! Команду распустить, жалованье выдать!

Прощайте, кортик с португеей! Кафтан! Туфли!

Прощай, море! Сердитое!

Паруса тоже, прощайте!

Канаты просмоленные!

Морской ветер, устерсы!

Парусное дело, фабрические дворы, прощайте!

Дело навигацкое и ружейное!

И ты тоже прощай, шерстобитное дело и валяное дело!

И дело мундира!

Еще прощай, рудный розыск, горы, глубокие, с духотой!

В мыльню сходить, испариться!

Малвазии выпить доктора запрещают!

Еще прощай, адмиральский час, австерия, и вольный дом, и неистовые дома, и охотные бабы, и белые ноги, и домашняя забава! Та приятная работа!

Петергофский огород, прощай! Великолуцкие грабины, липы амстердамские!

Прощайте, господа иностранные государства! Лев Свейский, Змей Китайский!

И ты тоже прощай, немалый корабль!

И неизвестно, на кого тебя оставлять!

Сыны и малые дочери, потроха, потрошонки, все перемерли, а старшего злодея сам прибрал! В пустоту приведут!

Прощай, Питер-Бас, господин капитан бомбардирской роты Петр Михайлов!

От злой и внутренней секретной болезни умираю!

И неизвестно, на кого отечество, и хозяйство, и художества оставляю!

Он плакал без голоса в одеяло, а одеяло было лоскутное, из многих лоскутьев, бархатных, шелковых и бумазейных, как у деревенских детей, теплое. И оно промокло с нижнего края. Колпак сполз с его широкой головы; голова была стриженная, солдатская, бритый лоб.

Камзол висел на вешалке, давно строен, сроки прошли, и обветшал. К службе более не годится.

А через час придет Катерина, и он знал, что умирает из-за того, что ее не казнил и даже допускает в комнату. А нужно было ее казнить, и тогда бы кровь получила облегчение, он бы выздоровел. А теперь кровь пошла на низ, и задержало, и держит, и не отпускает.

А запечного друга, Данилыча, тоже не казнил и тоже не получил облегчения.

А человек рядом, в каморке, замолчал, не скрыпит пером, на счетах не брякает. И не успеть ему на тот гнилой корень топор наложить. Прогнали уже, видно, того человечка из каморы, некому боле его докладов слушать.

Миновал ему срок, продали его, умирает солдатский сын Петр Михайлов!

Губы у него задрожали, и голова стала на подушке запрометываться. Она лежала, смуглая и не горазд большая, с косыми бровями, как лежала семь лет назад голова того, широкоплечего, тоже солдатского сына, голова Алексея, сына Петрова.

А гнева настоящего не было, гнев не приходил, только дрожь. Вот если б рассердиться; он бы рассердился, пощекотала б тогда ему темя хозяйка – он бы поспал и тогда бы выздоровел.

И тут на башню того замка, на которой моталась кладь на веревке, на ту синюю кафлю – вылез запечный таракан. Вылез, остановился и посмотрел.

В жизни было три боязни и все три большие: первая боязнь – вода, вторая – кровь.

Он в детстве боялся воды, у него от этой мути, от надутия больших вод подступало к горлу. И он за то полюбил ботик, что ботик – были стены, была защита от полой воды. И потом привык и полюбил.

Крови он боялся, но малое время. Он видел, ребенком, дядю, которого убили, и дядя был до того красный и освежеванный, как туша в мясном ряду, но дядино лицо бледное, и на лице, как будто налепил маляр, была кровь вместо глаза. И он тогда имел страх и тряску, но было и некоторое любопытство. И любопытство превозмогло, и он стал любопытен к крови.

И третья боязнь была – тот гад, хрущатый таракан. Эта боязнь осталась.

А что в нем было такого, в таракане, чтоб его бояться? – Ничего.

Он появился лет с пятьдесят назад, пришел из Турции в большом числе, в турецкую несчастную кампанию. Он водился в австериях, и в мокрой месте, и в сухом: любил печь. Может, он его боялся оттого, что гад с Туречины? Или что он защельный, тайно прятался в

щели, что все время присутствовал, жил, скрывался – и нечаянно выползал? Или его китайских усов?

Он похож был на Федор Юрьича, кесарь-папу, на князь Ромодановского, своими китайскими усами.

Или что он пустой, и, когда его раздавишь, звук от него – хруп, как от пустого места или же от рыбьего пузыря? Или даже что он, мертвая тварь, весь плоский, как плюсна?

И когда нужно было ехать куда – то ехали вперед рассыльщики и курьеры, и они осматривали дома: где пристать, есть ли гад? А без того не приставал.

Против гада не было изводчика, ни защиты.

А теперь он, Петр, плакал, в его глазах стояли слезы, и он не видел таракана. А когда одеялом утер глаза – тогда увидел.

Таракан стоял, шевелил усами, посматривал, и на нем был черный туск, как на маслине. Куда пойдут те ноги, сорок сороков? Куда они зашуршат? И соскочит на постель и пойдет писать по одеялу. Тогда стало томно его ножным пальцам, он задрожал, натянул одеяло на нос, а потом опростал руку из-под одеяла, чтобы дотянуться рукой до сапога и бросить сапогом в гада, пока тот стоит и не прячется. Но сапог не было, туфля была легкая и не убьет. Он потянулся и за нею, да не мог достать и, повывая, пополз на руках. Какие слабые! Не держат! А грудь – как тюфяк, набитый трухой. Он так полежал, отдохнул. Потом руками дополз до кресел. Кресла были дубовые, точеные, и вместо ручек – женские руки. Он последний раз подержался за дубовые тонкие пальцы, и рука, как в воду, – съехала в воздух – все за туфлей. А туфли нет, и дна нет, и рука поплыла. Тут зубы забили дробь, потому что таракан стоял без его надзора и ждал его или, может, уже двинулся или сорвался куда.

И вдруг таракан в самом деле упал, как неживой, стукнул и был таков. И оба были таковы: Петр Алексеевич лежал без памяти и безо всего, как пьяный.

Его сила вышла. Но он был терпелив и все старался очнуться и скоро очнулся.

Он обернулся, выкатив глаза, на все стороны – куда ушел гад? – посмотрел плохим взглядом поверх лаковых тынков и увидел незнакомое лицо.

Человек сидел налево от кровати, у двери, на скамеечке. Он был молодой, и глаза его были выкачены на него, на Петра, а зубы ляскали и голова тряслась.

Он был как сумасбродный или же как дурак, или ему было холодно. Рядом сидел еще один, старик, и спал. Лицом он был похож как бы на Мусина-Пушкина, из Сената. Молодой же по лицу был немец, из голштейнских.

Тогда Петр посмотрел еще и увидел, что у молодого ляскают зубы, а губы видимо трясутся, но что он не дурак, и сказал слабо:

– Ei, dat is nit permittert<sup>1</sup>.

Ему было стыдно, что его таким видит голштейнский, что он забрался в спальную комнату. Но вместе поменьшел и страх.

А когда взглянул на печь, таракана не было, и он обманул себя, что почудилось, не могло того стать, откуда здесь быть таракану? Стал слаб на некоторое время и забылся, а когда раскрыл глаза, увидел троих людей – все трое не спали, а молодой, которого он считал за голштейнского, был тоже сенатор, Долгорукий.

Он сказал:

– Кто?

Тогда старик и все встали, и старик сказал, вытянув руки по швам:

– Наряжены беречь здравие вашего величества. Он закрыл глаза и подремал.

Он не знал, что с этой ночи назначены по трое сенаторов стеречь в спальней. Потом, не смотря, махнул рукой:

---

<sup>1</sup> Это не разрешается (голл.).

– После.  
И все трое вышли.

## 6

А в ту еще ночь в каморе, что рядом со спальней комнатой, – сидел за столом небольшой человек, рябоват, широколиц, невиден. Шелестел бумагами.

Все бумаги были разложены по порядку, чтоб в любое время предстать в спальную комнату и рапортовать. Человек возился ночью с бумагами. Он был генерал-фискал и готовил доклад. Имя было ему: Алексей, фамилия Мякинин, не из застарелых фамилий. Бумаги он копил через фискалов; и самый тихий из них был купецкий фискал, Бусаревский. И писал, как дело не стоит, как оно не идет, что дано, и что взято, и что утаено в необыкновенных местах. На дачу он имел нюх тонкий, на взятку – верхний, на утайку – нижний.

И когда настала болезнь, позвали того невидного человека, и ему сказано: будь рядом, в каморке, со спальней моею комнатой, сбоку, потому что не могу более ходить в твои места. А ты сиди и пиши и мне докладывай. А обед тебе туда в каморку будут подавать. А сиди и таись. Таись и пиши.

И после того ежедневно в каморке скрип-бряк – человек кидал на счета огульные числа. И утром второго дня человек прошел в спальную комнату тайком и рапортовал. После этого рапорта стало дергать губу, и показалась пена.

Человечек стоял и ждал. Он был терпеливый, переждал, а голову держал набок.

Невидный человек. Потом, когда губодерга поменьшела, человечек поднял лоб, лоб был морщенный – и заметнул взгляд до самой персоны, даже до самых глаз, – и взгляд был простой, ресницы рыжи, этот взгляд бывалый. Тогда человек спросил, потише, как спрашивают о здоровье у хворого человека или у погорелого о доме:

– А как скажешь, сечь ли мне одни только сучья?

Но рот был неподвижен, не дергался более и не отвечал ничего. А глаза были закрыты, и, верно, начиналось внутреннее секретное грызение. Тогда рябой подумал, что тот не слышал, и спросил еще потише:

– А и скажешь ли наложить топор на весь корень? А тот молчал, и этот все стоял со своими бумагами.

Человек рябой, невидный. Мякинин Алексей. Тогда глаза раскрылись, и тонкий голос, с трещиною, сказал Алексею Мякинину:

– Тли дотла.

А глаз закосил со страхом на Мякинина – показалось, что Мякинин жалеет. Но тот стоял – рыжий, пестрина шла у него по лицу, небольшой человек, спокойный, – служба.

И теперь человек все прикидывал и пришивал толстою иглою, а утром докладывал – лоб на лоб. Бумаги у него были уже толстые. Приходил к нему Бусаревский, купецкий фискал, – был приказ этого человека пропускать во всякое время.

И когда купецкий фискал ушел, Мякинин разом вспотел и потел долго, вытирал лоб рукой, но и руки вспотели. А потом сел, кинул раза два всего на счета и заскрыпел. Дело первое было светлейшего князя, герцога Ижорского. И как отскрыпел, пришел к нему начало. А начало уже и раньше было – о знатных суммах, которые его светлость переправил в амстердамские и лионские кредиты.

Но это начало так и осталось началом, а он пришел еще другое, самое первое начало – тоже о знатных суммах, которые его светлость положил в Амстердаме и Лионе. Знатнейших суммах. А вспотел он оттого, что те немалые деньги переслала через его светлость в голландский Амстердам и к француженам в Лион не кто иной, как ее самодержавие. Он весь вспотел. А потом заодно пришел ведомость еще неизвестных и тайных дач через Вилима Ивановича, тоже данных ее величеству.

Он особенного дела не завел, а прямо пришел к первому. Он потому и вспотел, что не знал, как тут быть: затевать особенное дело или нет. И после того как пришел, заботливым оком посмотрел на листы. И отщелкнул на счетах, и кости показали сразу многие тысячи. Тьмы. И скостил, ничего на счетах не было.

Тогда, толстоватым пальцем вороша по многу листов и слюня этот палец, сделал адицию, прикинул, и всего вышло девяносто два. Долго смотрел и делал изумление лбом и глазами. И потом быстро вдруг – одну кость вверх – сделал супстракцию, осталось: девяносто один. И так он брался, и даже тремя перстами, за эту последнюю кость, и так он на ней обжигался, и наконец не шибко ее приволок назад.

Тогда взялся за свои короткие волосы, сгреб их и начал чесаться. И разом составил счета на пол.

Залег спать.

А девяносто две кости были – девяносто две головы. И утром пришел к докладу: тот еще спал. Он постоял на месте.

Потом глаз открыт, и тем дан знак, что слушает. И тихим голосом, даже не голосом, а как бы внутренним воркотаньем, у самого уха, доложено. Но глаз опять закрыт, и Мякинин думал, что лежит без памяти, и стоял, сомневаясь. Но тут покатила слеза – и той слезой дан знак, что внял. А пальцами другой знак, и его не понял Мякинин: не то – уходить, не то, что нечего делать, нужно дальше следовать, не то как бы: мол, брось; теперь, мол, все равно.

Он так и не понял, а ушед в каморку, больше не скрипел и счета тихонько задвинул ногой. И ему забыли в тот день принести обед. Так он сидел голодный и спать не ложился. Потом услышал: что-то неладно, ходят там и шуршат, как на сеновале, а потом тихо – и все не то. Под утро он вырвал тихонько все, что пришел, разорвал на клоки и, осмотрясь, вложил в сапог. А числа цифирью записал в необыкновенном месте, на тот раз, что если придется, то можно все сызнова составить и доложить.

Через час толкнули дверь, и вошла Катерина, ее величество. Тогда Мякинин Алексей встал во фронт. И пальцем ее величество показала – уходить.

Он было взялся за листы, но тут она положила на них свою руку. И посмотрела.

И Мякинин Алексей, слова не сказав, пошел вон. Дома пожег в печке все, что сунул в сапог. А цифирь осталась, только в непоказанном месте, и никто не поймет.

И немало дел осталось в каморке.

Про великие утайки от кораблей и от судов, что строил, – это про генерал-адмирала господина Апраксина. И почти про всех господ из Сената, кто сколько и за что. Но только с поминовением великих взятков и утаек, а про малые писать места нет. Как купцы прибитки прячут, про купцов Шустовых, которые даже до многих тысячей налоги не платят, а сами в нетях, бродят неведомо где под нищим образом. Как господа дворянство прячут хлеб и выжидают, чтоб более денег нажить, когда голод настанет, их имена и многое другое. Осталось и куда делось – об этом Мякинин не думал.

Он был рыжий, широколобый, не верховный господин. Если б не Павел Иванович Ягужинский, он бы век не сидел, может, в той каморке, и его бы оттуда не гнала сама Екатерина.

К утру три сенатора пошли в Сенат, и Сенат собрался и издал указ: выпустить многих колодников, которые сосланы на каторги, и освободить, чтоб молили о многолетнем здоровье величества.

Начались большие дела: хозяин еще говорил, но более не мог гневаться.

Ночью было послано за Данилычем, герцогом Ижорским. А он, уж из большого дворца, посылал к себе за своим военным секретарем Вюстом и сказал удвоить караулы в городе враз. Вюст враз удвоил. И тогда все узнали, что скоро умрет.

## 7

А про это знали еще много раньше в одном месте, где все знают, – именно в кабаке, в фортине, что была на юру.

Фортина стояла при Адмиралтействе. Она была строена для мастеровых, которым скучно; мастеровые скучали по родным местам, где они родились, или по жене, по детям, которых дома били, а то по разной рухляди или же по какой-нибудь даже одной домашней вещи, которая осталась дома, – они по этому сильно скучали в новом, пропастном месте.

Там, в кабаке, было пиво, вино, покружечко и в бадьях, и многие приходили, поодиночке и партиями, выпивали над бадьей из ковша, утирались и ухали:

– Ух.

Все шли в многонародное место – в кабак.

Над фортиною на крыше стояла на шесте государственная птица, орел. Она была жестяная с рисунком. И погнулась от ветра, заржавела, ее стали звать: петух. Но по птице фортину было видно на громадное пространство, даже с большого болота и с березовой рощи вокруг Невской перспективной дороги. Все говорили: пойдём к питуху. Потому что петух – это птица, а питух – пьяница. И тут многие знали друг друга, так же как при встрече на улицах; в Петербурке все люди были на счету. А были и безыменные: бурлаки петербургские. Они были горькие пьяницы.

Горькие пьяницы стояли в сенях над бадьей, пропивали онучи и тут же разувались и честно вешали онучи на бадью. От этого стоял бальзамовый дух.

Они пили пиво, брагу, и что текло по усам назад в бадью, то другие за ними черпали и пили. И здесь было тихо, только был слышен крехт и еще:

– Ух.

А в первой палате были всякие пьяницы, шумницы, и они пили со смехом и хохотаньем, им было все равно. Они были гулявые. Здесь кричали по углам:

– Вини!

– Жлуди!

Потому что здесь шла картежная игра, зернь и другие похабства. Иногда являлись и драки.

А дальше, в малой палате, в одно окно, были люди средние, разночинцы светской команды, подьячие средней статьи, мастеровые, шведы, французы и голландцы. А также солдатские женки и драгунские вдовы, охотные бабы.

И здесь пили молча, не шалили. И только немногие пели. Здесь были люди, которым всего скучнее.

В сенях была речь русская и шведская, а во второй – многие наречия. Из второй палаты речь шла в первую, а потом в сени – и уходила гулять до мазанок и до самого болота.

И хоть речь была разная: шведская, немецкая, турецкая, французская и русская, но пили все по-русски и ругались по-русски. На том кабацкое дело стояло.

У французов был такой разговор: они вспоминали вино, и кто больше винных сортов мог вспомнить, тому было больше уважения, потому что у него был опыт в виноградном питье и знание жизни у себя на родине.

Господин Лежандр, подмастерье, говорил:

– Я бы теперь взял бутылку пантаку, потом еще полбутылки бастру, потом небольшой стакан фронтиниаку и разве еще малый стакан мушкателю. Меня в Париже всегда так угощали.

Но господин Лебланк, столяр, послушав, говорил ему:

– Нет, я не люблю фронтиниака. Я пью только санкт-лоран, алкай, португал и сект-кенаршо. А больше всего я люблю эремитаж. Я в Париже угощал, и все хвалили.

Пораженный таким грубым ответом Лебланка, столяра, подмастерье, господин Лежандр, выпил кружку водки.

– А вы не любите арака? – спросил он потом Лебланка и любопытно взглянул на него.

– Нет, я не люблю арака, и я совсем не пью горячего вина, – ответил Лебланк.

– Э, – сказал тогда господин Лежандр, подмастерье, совсем уж тонким голосом, – а вчера господин мастер Пино меня угощал араком, шеколатом, и мы курили с ним виргинский табак.

И выпил кружку пива.

Но тут господин Лебланк стал свирепеть. Он смотрел во все глаза на Лежандра, свирепел, а усы у него стали как у моржа, во все стороны.

– Пино? – сказал он. – Пино такой же мастер, как я, а я такой же, как Пино. Только он режет рокайли и гротеск, а я режу все. И еще точку для твоего патрона вещи, которые я сам не понимаю, для чего они нужны, тысяча мать, – и последнее слово господин Лебланк, столяр, сказал по-русски.

Господин Лежандр был доволен такими словами столяра, что художественный столяр рассердился.

– А достали ли вы, господин Лебланк, тот дуб – для нас с графом, помните ли вы? – тот отрезок лучшего дуба, чтобы его долбить – как мы с графом вам сказали, – не правда ли?

– Я не достал, – сказал Лебланк, – потому что я не гробовщик, а резчик архитектуры, а здесь только гробы долбят из дуба, и это запрещено законом, и никто не продает, тысяча мать, – и последнее слово он сказал по-русски.

Пива он не пил, а все водку, и тут стал шумен и схватил за грудь господина подмастерья Лежандра и стал трясти.

– Если ты не скажешь мне, зачем твой граф скупает воск, а я должен искать этот дуб, – я иду в приказ и, тысяча мать, скажу, что ты помогаешь делать штемпели для запрещенных денег, и не хочешь ли тогда *supplice des batogues* или *du grand knout*?<sup>2</sup>

Тогда господин подмастерье Лежандр стал смирен и сказал так:

– Воск для рук и ног, а дуб для торса.

И они помолчали, а Лебланк стал думать и смотреть на Лежандра, и долго думал, а подумав:

– Э, – сказал он тогда спокойно, – значит, наверху в самом деле собираются отправиться к родителям? Но беспокойся, я уже делал один такой торс.

Потом он утер усы и сказал:

– Меня все это не касается, я прямой человек и не люблю людей, когда они кривят. Я тебе дам бутылку флорентинского и пачку табаку брезиль, он лучше виргинского. Меня это не касается. Я заработаю еще тысячи три франков, и я уезжаю из этой страны. Пино такой же мастер, как я. Только он режет рокайли, а я все. И я режу на камне, что ты мог бы знать, если бы интересовался, а он только на дереве. А дуб такой действительно трудно найти.

Тут подмастерье, господин Лежандр, стал насвистывать и запел тонким голосом французскую песню, что он – ран-рон – нашел в лесу девицу и стал ее щекотать, все дальше и больше, а потом ее и совсем ран-рон, а господин Лебланк говорил о дереве сесафрас, которого в России нет, потом заплакал и произнес из оды Филиппа Депорта на прощанье с Польшей:

---

<sup>2</sup> Наказание батогами или кнутовая казнь (*фр.*).

Adieu, pays d'un e'ternel adieu!<sup>3</sup>

потому что в мыслях своих увидел, как заработал свои тысячи франков (и не три, а все пятнадцать) и как он уезжает в город Париж из этого болота. А что Польша, что Россия – было ему все равно.

И тут во второй палате появился Иванко Зуб, он же Иванко Жузла, или Труба, или Иван Жмакин. Он прошелся легкой поступочкой по второй палате, посмотрел что и как и прошел мимо, но его остановил один портной мастер и сказал ему:

– Стой! Твой лик мне знакомый! Ты не из портных ли мастеров?

– Угадал, – сказал Иванко, – я и есть портных дел мастер, а чего ото немец поет? – и кивнул головой на Лежандра, и мигнул знакомому ямщику, который хлебал квас, и опять выплыл из палаты своей легкой поступочкой.

А за вторым столом действительно сидел немец и пел немецкую песню.

Это был господин аптекарский гезель Балтазар Шталь. Он сюда пришел из Кикиных палат, из куншткаморы, и он был до того худ и высок, веснушки по всему лицу, что все его знали в Петербурке. Но он не часто бывал в фортине.

Он состоял при куншткаморе для перемены винного духа в натуралиях. В год уходило на эти натуралии до ста ведер вина, из которого сидели винный дух. И потому что он переменял этот винный дух, он, гезель, весь пропах этим духом.

А теперь сидел в фортине, и против него сидел другой гезель, от славного аптекаря Липгольда, из врачебской аптеки, с Царицына Луга, и тот был старый немец, то есть почти русский. Уже его отец родился в Немецкой слободе на Москве, и поэтому его звание было: старый немец. Он был еще молодой.

Господин Балтазар спел песню, что он то стоит, то ходит, и сам не знает куда, – и объяснил наконец своему товарищу, старому немцу, что он для того пришел в фортину, что уроды выпили весь винный дух. Он ругал их. Уродов было всего четыре человека, и главный урод был Яков, самый из них умный, и Балтазар поставил его поэтому командиром над всеми уродами, которые дураки.

Никогда этого не случилось с ним, чтобы он так брутализировал или показывал дурные тентамина, вплоть до вчерашнего великого гезауфа, когда он, Балтазар Шталь, нашел к утру всех уродов почти больными от гнусного пьянства, и еще должен был ухаживать за ними, потому что они натуралии.

Старый немец сказал тогда:

– Тссс! – и так выразил, что он понимает такое трудное положение Балтазара и порицает уродов.

Сегодня же, сказал Балтазар, ввиду того что господин Шумахер за границей и он, Балтазар, теперь заменяет этого великого ученого (а дело это великой государственной важности, но лучше об этом не говорить, потому что в двух банках стоят у него особо такие две человеческие головы, о которых ни слова, и если эти натуралии испортятся, тогда начнется такое, что лучше об этом не думать), – он пошел на квартиру господина архиятера Блументроста – для того чтобы рапортовать и просить нового винного духа, так как старый уроды выпили до капли.

Старый немец сказал тут: «О!» – и так выразил одновременно, что уважает таких знаменитых лиц и сожалеет, что все они принуждены утруждать себя из-за уродов, но что он не желает подробностей о каких-то государственных головах.

– Что же сделал секретарь господина архиятера? – спросил его внезапно господин Балтазар. – Он затолкал мои доклады под чернильницу, закричал и затопал на меня, что когда

---

<sup>3</sup> Прощай, страна вечного прощания! (*фр.*).

царь болен, то об уродах нечего беспокоиться, и – рраус, рраус, вытолкал меня в дверь. Так разыгралась эта трагедия.

– Ссс, – сказал старый немец и потряс головой, показывая этим, что хоть считает Балтазара правым, но судьей между крупными людьми быть не может.

Потом он сказал, переводя разговор в сторону от таких обидных воспоминаний:

– Да, действительно, конечно, хотя там наверху в самом деле, кажется, очень больны, и господин Липгольд сказал мне, что уже послан от господина архиятера человек в Голландию спросить *consilium medicum*<sup>4</sup> у господина Бюергава, потому что здешние доктора не знают такого лекарства.

Тогда, совсем успокоившись, господин Балтазар Шталь поднял палец и сказал негромко:

– Любопытно, какой интеррегнум произойти здесь может! Но лучше не говорить! Господин Меншенкопф, вот кто будет править – клянусь! Но об этом ни слова.

Но когда он взглянул на старого немца, – никого не было напротив.

Старый немец был таков; испугавшись неприличного разговора, он уж был в первой каморе.

А в первой каморе сидел рыбак и пил, и в это время проходил Иванко, и рыбак вдруг остановил его и, взглядевшись, сказал:

– Стой! Будто я тебя знаю, твой вид мне знакомый. Ты не рыбачил ли на Волге?

– Угадал! – сказал Иванко и сощурил глаза, – рыбачил, на Волге, я самый.

И потом прошел легкой поступочкой в угол и сел к столу, а под столом натаяла лужа от всех ног, и за столом сидели разные люди.

– Вот меня в смех взяло, – сказал Иванко негромко, – вижу, все здесь люди млявые.

И почти все люди, завидя Иванку, разбрелись кто куда, а осталось трое.

Троим Иванко сказал:

– Ну, теперь будет потеха. Помирать коту не в лето, не в осень, не в авторник, не в середу, а в серый пяток. Уже в Ямской слободе лошадей побрали, с почтового двора поскакали – в Немечину смерть отвозить. Меня в смех взяло – вижу, бродят все люди млявые. А завтра всех выпускать будут!

И трое спросили: кого?

– А будут выпускать, – ответил Иванко Жузла, – портных мастеров, которые дубовой иглой шьют, и еще отпускать будут на все четыре стороны волжских рыболовов, тех, что рыбку ловят по хлевам и по клетям. Их завтра отпускать будут – тут торг, тут яма, стой прямо! А вы млявые! Меня в смех взяло!

И тогда один из троих, с длинными волосьями, верно расстрига, пустил над столом хрип:

– Днесь умирает от пипки табацкия!

В скором времени в фортину вошел господин полицейский капитан, а за ним двое рогаточных караульчиков с трещотками – и капитан прочел указ: закрывать фортину, для многолетнего императорского здоровья. Он выпил над бадьей, караульщики тоже. И ушли все люди, которые уже раньше все знали, все мастеровые, которым скучно, и немцы, и шхиперы, и ямщики, разные люди.

---

<sup>4</sup> Врачебного совета (*лат.*).

## ГЛАВА ВТОРАЯ

*Не лучше ли жить, чем умереть?*  
***Выменей, король самоедский***

## 1

В куншткаморе было немалое хозяйство. Она началась в Москве, и была сначала каморкой, а потом была в Летнем дворце, в Петербурге; тут было две каморки. Потом стала куншткамора, каменный дом. Он был отделен от других, на Смольном дворе; тут было все вместе, и живое и мертвое, а у сторожей своя мазанка при доме. Сторожей было трое. Один имел смотрение за теми, что в банках, другой за чучелами, обметал их, третий – чистил палаты. Потом, когда по важному делу Алексей Петровича казнили, всю куншткамору поголовно, все неестественное и неизвестное перевели в Литейную часть – в Кикины палаты. Так натуралии перевозили из дома в дом. Но это было далеко, все стали заезжать и заходить не так охотно и прилежно. Тогда начали строить кунштхаузы на главной площади, так чтоб со всех сторон было главное: с одной стороны – здание всех коллегий, с другой стороны – крепость, с третьей – кунштхаузы и с четвертой – Нева. Но пока что в Кикины палаты мало ходило людей, у них не было такой прилежности. Тогда придумано, чтобы каждый получал при смотреии куншткаморы свой интерес: кто туда заходил, того угощали либо чашкой кофе, либо рюмкой водки или венгерского вина. А на закуску давали цукерброд. Ягужинский, генерал-прокурор, предложил, чтобы всякий, кто захочет смотреть редкости, пусть платит по рублю за вход, из чего можно бы собрать сумму на содержание уродов. Но это не принято, и даже стали выдавать водку и цукерброды без платы. Тогда стало заметно больше людей заходить в куншткамору. А двое подьячих – один средней статьи, другой старый – заходили и по два раза на дню, но им уж водку редко давали, а цукербродов никогда. Давали сайку или крендель, а то калач, а то и ничего не давали. Подьячие жили поблизости, в мазанках. А водил их по куншткаморе, чтобы они чего не испортили или не унесли с собой, – господин суббиблиотекарь или же сторож. Или главный урод, Яков. Яков был еще и истопник, топил печи. В Кикиных палатах было тепло.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.